



СОВРЕМЕННАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ПРОЗА



Библиотека новогреческой литературы

АНТОЛОГИЯ
Современная греческая проза

«Алетейя»

2021

УДК 821.14'06
ББК 84(4Гре)6-44

Антология

Современная греческая проза / Антология — «Алетейя»,
2021 — (Библиотека новогреческой литературы)

ISBN 978-5-00165-218-2

Книга представляет собой антологию новогреческого рассказа, в которую вошли произведения малых литературных форм (рассказы и новеллы) авторов, удостоившихся Государственной литературной премии Греции в период с 2010 по 2018 гг. Собранные в антологии тексты посвящены насущным проблемам современной греческой литературы, тесно переплетенным с политическими, экономическими и социальными проблемами современной Греции и мира в целом. В разнообразных по сюжету и творческому методу произведениях, как в осколках зеркала, отражается многомерный облик новейшей литературы Греции, о которой так мало известно российскому читателю.

УДК 821.14'06
ББК 84(4Гре)6-44

ISBN 978-5-00165-218-2

© Антология, 2021
© Алетейя, 2021

Содержание

Две антологии во имя культуры	6
От Европейской ассоциации неозэллинистов	7
Слово современным греческим литераторам	8
Панагиотис Кусафанас	10
Новоселье	12
Христос Иконому	19
Мао[10]	21
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Коллектив авторов
Современная греческая проза
Антология
Рассказы и новеллы писателей-
лауреатов Государственной
Литературной премии Греции
(2010–2018 гг.)

Συγχρονη ελληνική πεζογραφία

Ανθολογία

Κρατικά λογοτεχνικά βραβεία βραβείο διηγήματος-νοτιβέλας
2010–2018

* * *

Настоящее издание выходит при поддержке Министерства культуры и спорта Греческой Республики и Греческого фонда культуры (г. Афины) в рамках Меморандума о взаимопонимании в области литературы, перевода и издательской деятельности между Министерством культуры и спорта Греческой Республики и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

В сотрудничестве с Европейской ассоциацией неоэллинистов и ее президентом д-ром Василисом Сабатакакисом.

© Коллектив авторов, 2021

© Министерство культуры и спорта Греческой республики, 2021

© Европейская ассоциация неоэллинистов, 2021

© К. Климова, А. Ковалева, пер. на русс. язык, 2021

© И. Кафаоглу, сост., послесл., 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Две антологии во имя культуры

Государственные Литературные премии являются одной из наиболее давних подведомственных программ Министерства Культуры и Спорта. С 1956 года без перерывов высшие государственные литературные награды присуждаются выдающимся деятелям словесности, что способствует распространению литературного языка и воспитанию любви к чтению. Страницы произведений, которые мы чествуем в ходе награждений, ещё пахнут типографской краской. В этот раз, впервые за всю историю программы, Министерство Культуры и Спорта осуществило издание двух антологий литературных сочинений, чьи авторы удостоились Государственных Литературных премий в течение минувшего десятилетия. Их изданию сопутствовало пожелание Министерства Культуры и Спорта: греческой литературе пора отправиться в путь за пределы нашей страны в официальном облачении государственного признания.

Первая антология содержит рассказы и новеллы четырнадцати писателей, получивших государственные премии в соответствующей номинации. Вторая состоит из стихотворений, входящих в двадцать сборников, удостоившихся награды в поэтических номинациях. На страницах антологий читатель узнает характерную картину современного литературного творчества. Он отправится в путешествие по произведениям более раннего периода и познакомится с голосами молодых прозаиков и поэтов. Он сможет составить мнение о том, как современная греческая литература подходит к проблематике нашей эпохи, когда мир меняется с безудержной скоростью. О том, как мастера слова справляются с соблазнами и вызовами современного мира. О том, как они видят человеческую природу, её страдания, страсти, надежды. Предоставим поэту сказать, «что видит он на своём веку»...

Государственные Литературные премии не являются наградами, адресованными избранному кругу людей. Мы понимаем эту программу как широкий путь для продвижения греческой книги и греческого языка. Экстраверсия современной греческой культуры – наша постоянная и давняя цель. Наша обязанность – сделать так, чтобы два изящных тома, две антологии, изданные под контролем Департамента словесности Министерства Культуры и Спорта, получили распространение на многих языках и во многих странах. Наша цель – обогатить мировой литературный процесс XXI века новыми, выразительными и тонко чувствующими, голосами греческой литературы. Мировой читательской аудитории имеет смысл познакомиться с нашей современной литературной идентичностью, отражающей социальную, культурную, идеологическую проблематику.

Д-р Лина Мендони,

Министр Культуры и Спорта Греческой республики

От Европейской ассоциации неоэллинистов

Европейская ассоциация неоэллинистов взяла на себя выполнение задачи по созданию переводов на пять европейских языков, в том числе на русский, Антологии новогреческого рассказа, в которую вошли произведения, получившие государственные премии Греции в период с 2010 по 2018 гг. Идея перевести избранные произведения новогреческой литературы на европейские языки смогла осуществиться благодаря плодотворному сотрудничеству Департамента словесности Министерства культуры Греческой республики и Европейской ассоциации неоэллинистов.

Российская ассоциация неоэллинистов, член Европейской ассоциации неоэллинистов, представленная в частности кафедрой византийской и новогреческой филологии филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, издавна демонстрирует высокий уровень преподавания и научной деятельности. Кроме того члены и выпускники кафедры успешно и плодотворно занимаются художественным переводом текстов греческой литературы. На протяжении многих лет кафедра организует научные конференции, в которых принимают участие признанные ученые из множества крупных европейских университетов, что является важнейшей частью европейского образования в области неоэллинистики в целом, а также значительным частным аспектом культурного сотрудничества между Россией и Грецией. Члены и студенты кафедры известны своей любовью к новогреческой литературе и культуре, а также совместными проектами с другими университетами и культурными организациями в России, Греции и со многими другими научными и образовательными институтами. Важнейшую роль в осуществлении этой деятельности играет Фонд греческой культуры в Москве, организующий разнообразные мероприятия совместно с Российской ассоциацией неоэллинистов.

Переводчики, выполняющие переводы произведений новогреческой литературы, являются также признанными филологами-неоэллинистами, занимающимися не только собственно художественным переводом, но также и составлением научных комментариев к произведениям, будь то поэзия или проза, классическая или современная новогреческая словесность.

Д-р Василис Сабатакакис,

Председатель Европейской ассоциации неоэллинистов

Слово современным греческим литераторам

*Родной мне дали греческую речь —
мой нищий дом на берегах Гомеровых.
Нет заботы другой кроме речи моей на берегах
Гомеровых¹.*

Одиссеас Элитис

Взяв за ориентир эти строки из поэмы «Достойно есть» нашего нобелевского лауреата, поэта Одиссеаса Элитиса, Департамент Словесности Министерства Культуры и Спортa подготовил русскоязычное издание двухтомной антологии, содержащей произведения греческих писателей, удостоившихся Государственных литературных премий в номинациях «Поэзия», «Рассказ-новелла» и «Литературный дебют» в течение последнего десятилетия. Этот период, отмеченный экономическим кризисом и его побочными эффектами в общественной сфере, неизбежно затронул и теоретическую проблематику. Что такое поэзия? Что такое литература? Очищение страстей, по Аристотелю? Историческое событие, где сжато охватываются огромные срезы, находят своё выражение расколы и формируются понятия, которые в дальнейшем формируют сознание? Инсценировка реальности посредством фантазии? Способ скоротать время и отогнать страх перед миром, кажушимся непостижимым?

Вероятно, они – все эти вещи, которые, по словам Элитиса, активизируются движущей силой языка. Греческий язык на протяжении долгих лет был изгнанником в русских литературных кругах и российском книгоиздании. Уже долгие годы новогреческая литература пытается завоевать по праву принадлежащее ей место в приоритетах русских переводчиков и издателей, на витринах крупных книжных магазинов Москвы и Санкт-Петербурга, на международных книжных выставках, в предпочтениях публики. С помощью настоящей инициативы, являющейся частью более обширной программы по изданию греческой литературы на русском языке, Департамент Словесности передаёт слово современным греческим творцам с уверенностью, что *plus c' est local, plus c' est universel*.

В этом томе собраны произведения четырнадцати писателей, творчество каждого из которых представлено одним рассказом. В большинстве своём они относятся к разным возрастным группам, их творчество восходит к разным истокам и движется в разных направлениях. Часто их методы диаметрально отличаются друг от друга.

В контексте резких перемен, произошедших с начала десятилетия до его конца, антология отражает, в большей или меньшей степени, ландшафт недавнего литературного процесса во всём его многообразии и многозначности, и обрисовывает в нескольких штрихах пороки эпохи, способствуя диалогу об историческом нарративе нашей литературы. Одновременно с этим она выносит на поверхность проблематику поэтических и повествовательных приёмов, которая, разумеется, восходит к более раннему времени и охватывает более обширный период, чем это десятилетие.

В греческой прозе этого времени господствует *homo narrans*, рассказывающий истории, сочетающий частные чувства с общественным, находящимися в отношениях специфического взаимовлияния. Факт институционального премирования является гарантом качества текстов, вошедших в антологию, и даёт русской публике возможность познакомиться с уникальным в своём богатстве, самобытным и завораживающим греческим литературным «архивом».

¹ Строка из поэмы О. Элитиса «Достойно есть», поэтический перевод И. Харламова.

Таким образом, этот том, как и выходящая в свет одновременно с ним антология поэзии, открывает канал связи со внешним миром, диалог с ним. Кроме того, он в очередной раз подтверждает, что деятельность читателя остаётся процессом производящим, почти равноценным деятельности писателя, по меткому наблюдению Жака Деррида. Вокруг этого тезиса, впрочем, строится вся программа «Любовь к чтению», реализуемая Министерством Культуры и Спорта.

Одна из целей настоящей двухтомной антологии – вывести в свет и отправить в путешествие до самых отдалённых уголков мира живую и актуальную литературу, способную вступить в диалог со вчерашним днём, но глядящую в завтрашний. Литературу, которая определяет себя как последнее прибежище свободы, следуя высказыванию Д. Соломоса: «разве занят мой ум чем-то иным, помимо свободы и речи?»

Сегодня, когда локальное и глобальное, национальное и инородное пересматриваются на невиданных прежде условиях, эта книга и её близнец, антология поэзии, могут многое рассказать о том, какими способами, на каких условиях и посредством каких преобразований греческая культура осуществляет себя в пределах Греции и за её пределами, а равно и о том, какой мы хотим видеть её завтра. Греческая литература обладает своим характерным голосом, своим местом в глобальном (но не глобализированном) сообществе, сохраняя свою общую идентичность или свои частные идентичности. Это литература, уходящая корнями в глубокое прошлое, как и сама история письменности, – по крайней мере, как мы её знаем, – недаром и само слово «алфавит», которое мы встречаем во множестве языков, имеет греческое происхождение.

Пожелаем ей доброго пути – теперь и на русском языке, среди русской читательской публики!

*Д-р Сисси Папафанасиу, историк культуры, руководитель Департамента Словесности
Министерства Культуры и Спорта Греческой республики*



Панагиотис Кусафанас
Косые истории со знаком вопроса

Государственная литературная премия Греции

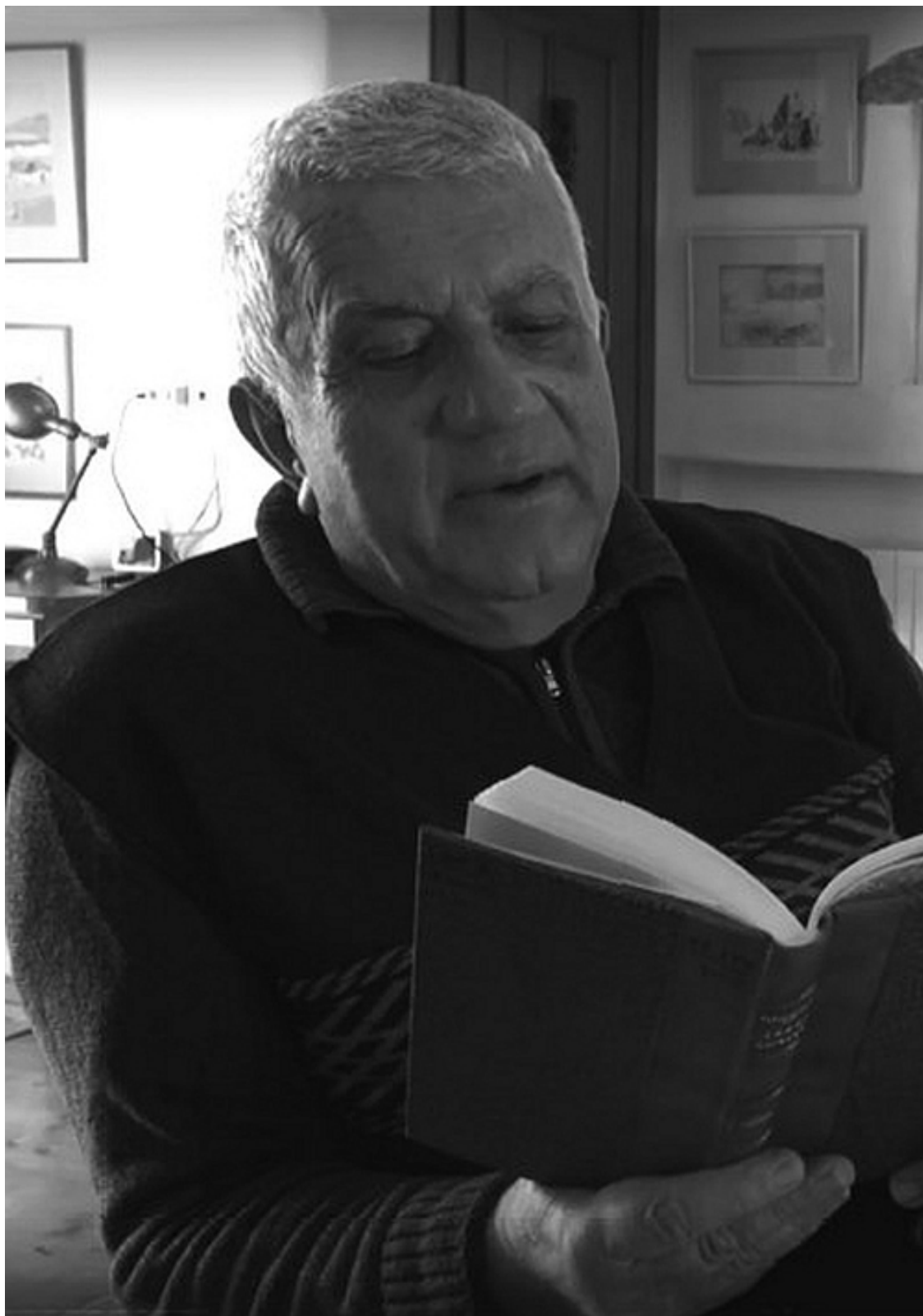
Номинация «Рассказ – новелла»

2010

Издательство «Индиктос»,

Афины, 2009

(«Новоселье», сс. 9–25)



Новоселье

И хрип – посланник и глашатай мертвых.

Гипнонакт

Три года жизни посвятила Д., археолог по профессии, тому, чтобы обустроить прекрасный дом, три года для дома – это много, поскольку такая длительная преданность даже и по отношению к человеку – явление редкое и достойное восхищения. Три года исключительно на то, чтобы присматривать за рабочими и строителями, но самое главное – за инженером и архитектором: советовать, указывать и исправлять ошибки, вызванные непростительным невежеством, ошибки, вызванные безразличием, алчностью, безответственностью, за которые она, разумеется, платила из своего собственного кармана и из своей собственной души. Она глубоко ненавидела всех, кто прошел через работы в ее доме, – строителей и ремонтников, греков и албанцев, ее состарила и заставила поседеть вся эта авантюра, пропади она пропадом. Часто она задавалась вопросом, стоила ли вообще эта затея труда, а главное – потраченных ею времени и денег. Но утешалась, видя результат, и говорила, что в итоге все было не зря – дом выглядел нерукотворным, словно его не касалась рука человека. Она, конечно же, даже не пыталась рабски подражать местному архитектурному колориту, это обычно порождает чудовищные гибриды, которые Д. считала убогими; напротив, она построила современный дом, обустроив его интерьер и экстерьер по мудрым наказам старых мастеров, поскольку, будучи приверженцем «старой школы», она была уверена: то, что мы называем «традицией», если ты способен освоить ее и превзойти «со временем и с усилием²» – как философски сказал поэт из прежних времен и обстоятельств – это единственная ступень, ведущая к современности. Итак, она мудро и умеренно использовала старые проверенные решения, большинство из которых остаются непревзойденными и по сей день, во времена силикона и всевозможных инновационных материалов, но вместе с тем и смело отвергала любой элемент, пахнущий плесенью и ведущий к деланности и притворству, каким бы старым тот ни был. Нелегкое это было дело, но постройка удалась на славу, она пришлась под лад старой «деревушки» и гармонично вписалась в покладистый пейзаж островного ландшафта, создавая впечатление, что она давно уже проросла на этом поле, словно вековая шелковица. Завалинки, дворики, разноуровневые ярусы, глиняные печные трубы, наличники, загончики и каменные кладки в саду и винограднике, деревянные навесы и живые изгороди, водоем с золотыми рыбками, старая реконструированная винодавальня с красным санторинским черепичным цементом, «давило», так называл ее дед, и даже «плавательный резервуар» (в просторечии – бассейн), в котором можно было оставить воду отдохнуть на недельку без хлорки и осветлителей и поливать ею деревья, так что совесть может быть спокойна, что ни капли воды не пропадает даром; одно к одному, как по писаному. Д., несмотря на невыносимую усталость, все время, пока строила, улучшала и исправляла, витала в облаках, так что теперь чувствовала безграничную нежность к этому дому, предельно приближенному к идее утраченной родины, а бассейн для нее был ни чем иным, как миниатюрным подобием плохо вылепленного и выжатого до последней капли моря. В довершение она воткнула еще и флаг на длинном древке над входом. «Подумать только, я такого даже на национальные праздники не делала, – заметила она, – конечно, настоящий флаг человек поднимает в ином месте, а не на балконе; но теперь, в эпоху утрат и загрязнений, с приходом туризма и начавшейся вот уже десятилетия назад глобализации – видали мы, какая

² Д. Соломос. Лирическая поэма «На смерть лорда Байрона», примечание поэта № 2.

от нее польза, тут уж пусть каждый толкует, как знает – сейчас, когда все стыдятся вывешивать флаги, а любовь к родным местам стала считаться минимальной ставкой на национальных торгах или провинциальностью, поднятие флага наконец-то приобрело какой-то смысл, особенно если не спускать его круглый год». Оставила, значит, Д. этот флаг как флюгер, указатель ветра и времени, вторящий своей песней свирелям тростника, что ласкали ей слух, в то время, как и ее жизнь развертывалась и развеивалась вместе с флагом. Пока сегодня вечером, наполненным журчащим кристалльным лунным светом, наполненным прохладой и разбрызгивающим серебро по спине, не настал час новоселья.

С одной стороны – знакомые, которые собрались, чтобы поздравить ее с новосельем и пожелать всего доброго, хоть она и не привыкла к таким многолюдным собраниям, с другой – поп со святой водой, песнопениями и ладаном («боюсь тебя я, братец мой, дух ладана бьет в нос мне³...»), который напомнил ей о безвозвратно ушедших (как бы она хотела, чтобы они сегодня были здесь!), совершенно испортили ей настроение. Она была в глубокой печали, что невозможно было скрыть. «Ну-ка, отвечай подобру-поздорову, что на тебя нашло?» Если бы она могла ответить, то сказала бы: «Иногда становится невыносимой красота вещей, домов, людей, и печально сознавать, что и она тоже есть не более чем обманчивая, временная вещь; настанет миг, и она бесшумно закроется, словно цветок гибискуса на исходе дня». Но такие мысли, конечно, неуместны в час радости, когда все вокруг жмут тебе руку и улыбаются; она знает это, да, и считает себя неблагодарной эгоисткой. Итак, она запечатывает уста и не дает ответа, но ничего не может поделать, не может сбежать от мыслей, жалящих ее, словно слепни. Ее недовольство и тревога были такими же, как тогда, когда она оказывалась перед тем, что великодушные люди называют «незатейливыми человеческими жестами», а Д., менее великодушно, но более наглядно, – «несостоятельностью души». «Поздравляем с новосельем, пусть дом будет крепким!» «Желаем долгих лет, здоровья и счастья!» – пожелания сыплются градом, но она в очередной раз убеждается в том, что одиночество среди других, то есть «одиночество в толпе», еще хуже, если сравнить его с другим, «личным одиночеством», имеющим в пособниках молчание и свою собственную утешительную прелесть. Непрошенными гостями заявили сегодня и вальяжно расселись в глубине ее сердца черные мысли: в радостных, но тем не менее тщательно продуманных пожеланиях ее суеверная чувствительность отметила, что никто нигде не употребил слово «всегда». Да и как это было бы возможно, ведь даже в смехе, как Д. хочется верить, они видят то же, что и она? То есть семена мутного, но тем не менее неизбежного конца. Возможно, тому способствовали сегодняшние раскопки древней могилы («О, бедный Йорик!») рядом с морскими волнами, с волнами бодрствующего во сне и наяву Хроноса, который все перемелет и все сметет, пожалуй, даже и книгу, которую она читала вчера вечером и пассаж из которой настойчиво вертится у нее в голове и точит ее, все «разбухая». Там было написано: «никто не хочет ни читать о плохом, ни, конечно, жить плохо, поскольку время жалости не имеет; не знаю, обязаны ли мы Богу или природе смертью, но природа, так или иначе, получит то, что должна получить; и уж конечно мы ничем не обязаны посредственности, какую бы коллективную идею она, по ее утверждению, ни продвигала или хотя бы ни выражала». «Правду говорят, что когда „чернил становится мало, моря – больше⁴“, – бормочет Д., – действительно, книги – это моря. Сочиняя их или хотя бы строя дома, только одна тайная забота есть у человека – чтобы его не унесла иная волна, пусть он и знает, что в этом рокоте он сражается со злом и несправедливостью».

Чтобы сделать глоток прохладного воздуха и развеяться, она выходит в сад – зеленый-презеленый рай, который она высадила и обустроила еще до того, как построить дом. Она идет в одиночестве среди низеньких, но нагруженных плодами лимонных, апельсиновых, алы-

³ Греческая народная «Песнь о мертвом брате».

⁴ Йоргос Сеферис «Шестнадцать хайку» (Хайку № 16).

човых деревьев, густой мимозы, которая, как все прекрасное в жизни, с одной стороны, опьяняет своим ароматом, а с другой – кровожадно колет шипами; и, добравшись до угла сада, Д. оборачивается и окидывает взглядом дом, освещенный огнями, словно корабль. То, что предстает перед ее взором, наполняет ее ужасом: некрашенный, потрескавшийся, с гнилыми наличниками, со свисающей огромной чешуей штукатуркой дом; двор и живые изгороди поросли сорняками и диким кустарником, уже готовы обвалиться стены, глиняные трубы разворочены. Беззубой старухой, бездушным трупом дом стоял, как привидение, на фоне печального пейзажа под светом спектральной луны. Водоем, весь потрескавшийся, сухой, без влаголюбивого циперуса, или по-другому «земляного миндаля», без золотых рыбок, без Фифириса, единственного лягушонка, не выносившего одиночества и распевавшего каждый вечер, чтобы сбросить заклятье неразделенной любви, – и этот водоем зияет, словно разверстая могила. Даже земля на грядках – земля, благодаря ее трудам привыкшая любовно скрывать дела людские, защищая их от дел людских и тлена времени – «the whips and scorns⁵» – сейчас она не что иное, как дикая чаша с репейником и ракишником.

Она почувствовала себя разбитой: цветочная ваза, которая падает вниз и рассыпается на тысячу осколков, разбилась бы со звоном тише, чем тот, что прозвучал в ее голове и постепенно превратился в шум, как звук пустой ракушки, экстракт всех звуков жизни, сходящихся в закваске пространства, в засосе времени, в погружении на дно. «Знаешь, дома легко начинают упрямиться⁶» – разве не это утверждал поэт? Они упрямы со старыми, которые уходят, с новыми, которые приходят, как будто это они виноваты в отбытиях и прибытиях; но вот это вот, это уже не упрямство, а заклятая вендетта. Д. возмущается. «Как же можно это принять и смириться с таким варварством? – вопрошает она. – И можно было бы смириться, если дом бы не рушился? Уж легче ужиться с постаревшим самим собой, в которого, к тому же, ты превращается не в одночасье, как этот дом сегодня вечером, а незаметно, так что у тебя есть время переварить то, что ты зреешь, как инжир, готовый упасть на землю, согласно ритму и порядку, правящим в этом мире. Как тут развернуть нелепое знамя для заведомо проигрышного мятежа против непреложного и неотвратимого? Но и как опустить его, проклятое?» Она провела немного времени в раздумьях и вскоре, более спокойная, менее удрученная, но все еще хмурая, морщин у нее больше, чем обычно бывает в таком возрасте, она признала: «Да, человечество попало в мышшеловку, но все-таки, подумать только, если бы мы жили вечно, вечно, вечно, то пришел бы, значит, час, когда мы умоляли бы Хроноса-Мороса об освобождении, чтобы мы заснули, отдохнули, чтобы он перестал нас подслушивать. А, нет-нет-нет! Хронос должен быть долгим, а жизнь – короткой. Возможно, в этой парадоксальности и скрывается глубокий нерушимый смысл того, что с возмутительной благоглупостью люди называют „предназначением“ – особенно для тебя, изучавшей древность, это недопустимо вдвойне; ты вышла на охоту без дробы, без добычи, вместо того чтобы помнить – как там сказал поэт, как сказал? – „безумье гоняться вслед за призраком пустым“⁷? Как гоняться с воздухом за воздухом? Нет, в тысячу раз лучше Хроносу-Моросу быть хозяином и вершителем вселенной и жизни, чем делать все, что взбрдет ему в голову, этом неуравновешенному человеку, который уже все профукал и если заново не обретет первородную мудрость, то у него взлетит на воздух его собственное гнездо».

Всего в пяти шагах отсюда самый прекрасный юго-западный двор со стороны гарбина, редко дующего в наших краях, поэтому и дома, ориентированные на ту сторону, словно корабли в плавании, благополучно и непреклонно несут нас сквозь все ветра, за исключением собственно гарбина; этот палубный двор сейчас качает: он то поднимается до середины неба, то

⁵ Англ. «кнуты и насмешки». Строка из «Гамлета» У. Шекспира.

⁶ Йоргос Сеферис. «А. Дом у моря» (Сборник «Дрозд»).

⁷ Строка из трагедии Софокла «Электра», здесь приводится в переводе Ф. Ф. Зелинского.

пропадает в разбушевавшейся бездне, а вечером в него набилась стая пепельно-черных ворон, которые жадно клюют незнамо что. «Кар-кар-кар, а ты как думала, подруга?» – жутко галдят они, лая, словно прожорливые псы, «и у домов есть своя судьба, своя жизнь, только ненамного длиннее, чем у хозяина». Голос внутри говорит, что теперь уже она никогда больше не увидит свой дом при полном свете плывущим на всех парусах в ночи – он будет существовать только в ее фантазиях, как воспоминание, которое со временем постепенно выцветает, чтобы уступить место другой реальности, новым образам, которые в свою очередь и сами становятся о трех ногах, сбиваются в кучу, попираются, порывисто летают, словно ошметки снежных хлопьев в бурю, чтобы найти себе место, требуя справедливости. В древнем неровном танце утомленных вещей, оставленных желаний и воспоминаний самые везучие из них попляшут немного, а затем неотвратно растают или потонут вместе с остальными, презренными, в темном озере памяти.

Утомленная, словно проработала киркой в каменоломне весь день и ночь напролет или завершила тончайшие раскопки, и вся тяжесть выкопанной земли легла ей на плечи, она не могла дождаться часа, когда уйдет последний гость, чтобы лечь. Наконец она осталась одна. Кусочки ваты, которыми она затыкает уши, спасительные в иных обстоятельствах, не могли теперь ее защитить. «Кар-кар-кар», – она отчетливо слышит карканье, проникающее сквозь вату и пронзающее ей виски. – Кар-кар, чтобы вы ни делали, последнее слово за мной, пепельно-черной фальшиво орущей вороной, долгожительницей с безграничной памятью; вы прогоняете меня камнями и криками, когда замечаете в ваших прохладных садах, в спелых виноградниках, на готовых к жатве полях; отсылаете меня пастись на свалках избалованной во лжи надежды и ваших несбывшихся мечтаний; кар-кар, я уродливая птица, болтливая, я все болтаю, болтаю, а вы думаете, что ничего я не сказала, разгребаю когтями и клювом там, где тлен, гниль и останки, переворачиваю все с ног на голову, превращаю смех в слезы, а в кошмар – мечту; кар-кар, это я далеко прогоняю и развеиваю по ветрам нарядных певчих птиц: щегла, жаворонка и человека; так каркал мой прадед, так заявляю и я, хоть вы и делаете вид, что не понимаете моего языка. «Мое кар-кар, – говорил он вам, – это глашатай мертвых».

Археолог не произносит ни звука, однако чувствует, что убила и сегодняшнее мгновение, так же, как она убила уже столько мгновений и мигнов в своей жизни: хороших, плохих, безразличных, которые, вместо того, чтобы безрассудно холить их и лелеять, она грубо толкала и расстреливала, вместо того, чтобы благодарно отдаваться течению, как морские водоросли, она меняла курс, идя против всего, что каждый миг в свою очередь требовал, чему он ее учил. «Нет у человека такого права, – думает она, – „встречи“ он назначает себе не сам; нет, не так, не так, мне нужно было быть милосердней к Хроносу, если я хотела получше его использовать». С самого детства часы, эти разношерстные надгробия человеческого времени, его прожорливые, но безупречные молотилки, подробно фиксирующие прошлое, но не ведающие, подобно человеку, о будущем, а зачастую и о настоящем, действовали на нее с каким-то демоническим очарованием, она испытывала к ним смешанные чувства восхищения и ненависти, не могла оставить их в покое, все теребила и чинила их, так что, дабы избежать мучений, часы прятались – даже сейчас она могла бы поклясться, что делали они это сами – прятались под подушками, матрасами, на дне какого-нибудь чемодана, даже в бадье, поднимавшей воду из колодца, однако ухо улавливало их предательское и насмешливое тиканье, где бы они не находились. Даже сейчас ей нравится подначивать и изводить их по мере своих возможностей, пытаюсь не глядя угадать время, и странно, что хотя с годами она и утратила старое чувство времени (утром вечереет, вечером наступает день, а понедельник встречается с другим понедельником без посредства других дней), Д. становится все точнее в угадывании, отклонение не превосходит плюс-минус две минуты, и это наполняет ее диким первородным злорадством, поскольку она видит, что и у песьемордого Хроноса-Мороса есть слабые стороны, ахиллесова пята. «Пусть даже маленькая щель, трещинка в возмутительной самоуверенности этого чудовища для человека – большое и великое дело, – приходит она к выводу. – Я уже добралась до

такого места, что скоро возьму курс на секунды, вот тогда и посмотрим, что скажет эта жалкая фашистская морда в ответ на мои оплеухи». Конечно, несмотря на эти маленькие победы в отдельных сражениях, Д. в глубине души знает, что война заведомо проиграна, что это часы в итоге получают возмездие за мучения: они толкают время все быстрее, все быстрее, а ей остается только упираться лбом в то, что само на нее наткнулось, а не то, что ищет она. Да какое ей вообще дело до бесцельного, тщетного угадывания? Что за дело безвременному ребенку до часов?

Нельзя вообразить более неподходящего сочетания, кроме, пожалуй, ребенка с пистолетом. Теперь, когда она может сформулировать все то невнятное, что занимало ее в детстве, она задается вопросом – может, эта необъяснимая тяга, это волшебство обязаны тому факту, что часы с их шестеренками, пружинками, колесиками и стрелочками представляли перед ее взором странными инструментами тайной лаборатории, где при наличии проницательности и удачи можно опытным путем открыть лидийский камень Хроноса; только вот данная алхимия, как выяснилось, еще сложнее, чем у древних. Родители были уверены, что с такой страстью и интересом к часам девочка станет часовых дел мастером. Однако часовых дел мастером, то есть невинным и неповинным помощником в молотье времени, она не стала. Зато стала археологом, то есть санитаром, врачевателем и знахарем ран, которые наносит время людям и вещам; так что она находит призрачное утешение в своей жизни то в одном, то в другом, внося раскопками свою толику в неравный бой со всеми пагубными последствиями Хроноса, теперь уже пребывая в уверенности, что это не «годы приносят разумение⁸», осознание и приятие, но изучение, которое и делает время тем, чем назвал его древний поэт, – «милостивым⁹», другими словами благоприятным, благопутешествующим и кротким, особенно последнее. «Это и должно меня заботить впредь, – решает Д., – и пусть понадобится отдать остаток жизни, если нужно, на то, чтобы превратить горькую полынь в мед, а ярость – в кротость».

Луна уже клонила к закату, когда она в изнеможении бросила взгляд на окно, где показался дымчато-синий кусочек неба, а на нем – накрепко приколотенная, кованая серебряная компания из звезд и звездочек, устроивших переключку на утренней заре. Она вперила туда свой взор, стараясь не моргать, поскольку трепетала перед судьбой их тонкого, неосязаемого существования. Она помнит, что пока строила, чувствовала себя неуязвимой, почти бессмертной, несмотря на заботы и усталость; вероятно, из-за того, что ей необходимо было завершить «дело», отдалявшее, словно оберег, любую беду. «Может, теперь, когда я закончила работы, мне нужно начать еще какую-нибудь стройку, чтобы заговорить то зло, что бродит вокруг? И чего только не приходит человеку в голову, чем только он тешится? – смущенно изумилась она. – Пока ставишь цели и задачи, обновляешь, продлеваешь время жизни в уверенности, что нельзя уйти, прежде чем закончишь: чувство, ложное чувство, предчувствие, мания, шизофрения – как ни назови, этот спасательный круг существует, и ты за него хватаешься». Глупые детские мысли распухают и наводняют мозг; усталость и сонливость – плохие советчики, но все-таки только такие ссоры с самим собой, как она уже и раньше замечала, разоблачают и обнажают нас. «Еще одна комнатка, чуланчик, хотя бы балкончик, как те северные балкончики; теперь, когда дыхание становится все более непосильным, все более изнурительным занятием», – произносит она сдавленным голосом и добавляет, – а если еще предположить, что я по крайней мере не буду лишена удовольствия подтрунивать над ним самим: «Меня не беспокоит, что я ухожу, меня заботит только, что я не закончила дела, – скажу я ему. – Давай, приходи, когда тебе вздумается, жалкий развратный нахлебник, ты не за мной пришел, ты пришел, потому что тебе нравится, когда остаются недоделанными человеческие дела, дела всей жизни!» А потом добавила: «Да о чем я говорю? Разве я могу усмирить его руганью?»

⁸ Греческая пословица «годы приносят разумение».

⁹ Софокл «Электра», строка 179.

Разве это то изучение, которым я решила заняться? Если уж он примет решение навредить, никому из прочих злонравных богов не придется прикладывать руку – уж лучше мне молчать в тряпочку».

Каждый раз, когда Д. предается таким абсурдным размышлениям, одна странная мысль приносит за собой другую. «Я что, собираюсь снова свою жизнь наполнить неприятностями? Может, я свихнулась? Я только позавчера закончила с домом, – гневно возражает она и вскоре добавляет. – Я говорю не о переоцененном слове „всегда“, являющемся перевернутым зеркальным отражением „никогда“, и не о боли „вечности“, которую мудрецы прокляли и назвали „криком молнии, копьем, что протыкает сердце, мукой Времени без времени“. Я говорю о маленькой, вот такусенькой, отсрочке, о крошке, которой даже голодный воробушек не насытится. Когда кто-то уходит из жизни обиженным, подрывается порядок, и несправедливо, чтобы на живых ложилась тяжесть того, кто ушел обиженным; тем не менее, остается вопрос: кто счастливчик? Тот, кто недостаточно прожил, чтобы осознать неотвратимость Хроноса-Мороса, то есть безгодый юноша, ушедший раньше времени, или тот, кто, как и я, пережил все, что нужно, чтобы это время ощутить?» Она качает головой на подушке вправо-влево, чтобы стряхнуть с себя мысли, как собака стряхивает воду со своей шерсти, но все напрасно – предчувствие вероятности отсрочки жизни продолжительностью прямо пропорциональной личным целям и желанию, велико. И кто может противостоять соблазну такого дара? Кто? «Однако, – подытоживает она, – только кретину не видно, что именно это смехотворное трагикомическое упорство и вращает колесо жизни, а вместе с ней – не стоит себя обманывать – стрелки часов, „исправляя“ время на всех хронометрах: солнечных, настольных, настенных, карманных, наручных; значит, ноль в делителе, ноль в произведении, и в сумме, и в остатке – ноль во всем; плюнь и начинай сначала, а лучше плюнь в конце. Но все-таки я не вынесла бы человека, который лишил бы меня, пусть и нечаянно, рассудка, правды – или, может быть, лжи? – жизни, но вот полюбуйтеесь-ка на меня: разве не то же самое делаю я сейчас сама с собой?» Несмотря на оправдания она и сегодня не обнаружила никакой разницы. Результат остался тем же.

Пока не взошло солнце, растворившее все призрачные порождения ночи и сновидения, карканье и клекот птиц заполняли каждый уголок шкафа и комода нового дома, и Д. не знала, как их прогнать. Изнеможенная, с растрепанным сознанием, неспособная ни к какой серьезной мысли, она бросила последний взгляд на кусочек неба, где после вечерней небесной пирушки звезды удалились на свое дневное священнодействие, что-то вроде игрового сборища или развеселого ужина мертвых, а на их месте теперь поигрывал блудный солнечный свет. «Ну и что, что их не видно, – решительно произнесла она, – я же знаю, что они там, и ничто не может их выпарить оттуда, даже всесильное, всевидящее солнце. Однако, – удивилась она, – как это так быстро рассвело? Для меня до сих пор ночи заканчивались, когда солнце уже стояло в зените». Снаружи подул северный ветерок, тростник и флаг робко начали свою живительную песню:

«Будь смел, хоть это тяжкий труд...»

Археолог почувствовала, что небольшая полянка неба, заплатка, со звездами или без, так далека, так близка; она – единственное, чему можно доверять, протянешь руку – и схватила, и ничего страшного, что она так и не коснулась «смысла» и «предназначения».

Слезы текут по щекам, и пусть, будто дождь поливает иссохшую землю. «Как же ты не поняла? Он же – друг, друг, этот Хронос-Морос, тебе нечего бояться, пока слеза орошает щеку». Полная ликования, она закрывает глаза, задавая вопрос – поскольку нельзя не спросить саму себя и Бога – вопрос, который с сотворения мира обращают к своим богам из всех земных существ только только люди; но на этот раз недовольство и оторопь уже улеглись; она спрашивает со спокойным сердцем, словно уже получила ответ, и, примирившись, справляет в ином месте другое новоселье: «Сколько еще раз, косой Бог, я буду стоять так, будучи не в состоянии истолковать волю и знаки твои, которые беспрестанно выкрикивают твои любимые птицы?»

Их темная ясность невыносима. Не пытайся снова обмануть меня, я знаю, что пожирала твои вороны во дворе вчера вечером, но спасибо слезам и той заплатке на небе в пяти шагах отсюда, спасибо тростнику и флагу. Склонись, ленивый, но бодрствующий Призрак, соблаговоли дать нам хоть раз честный ответ на загадку, висящую, как меч, над нашей головой с первого мгновения нашего рождения:

„Что мерит нас без метра и убивает, не существуя?“

Что это за доля обмана, которая может быть только такой, но не может быть иной?»

**Христос Иконому
Мао**

Государственная литературная премия Греции

Номинация «Рассказ – новелла»

2011

Издательство «Полис»,

Афины, 2010

(«Мао», сс. 55–109)



Мао¹⁰

Мао мы зовем его. Потому что, когда он родился, был желтым, как китайчонок. И мать, и сестры так же его зовут. Мао. Отец его уже много лет как погиб на танкере в Пераме. Коммунистом он был, но спокойным человеком и весельчаком. Он сына и окрестил Мао. И теперь, пусть даже тот и вымахал в дюжего молодца, вся округа зовет его Мао.

Что подельваешь, Мао?

Твою маму отымаю.

Его старшую сестру Катерину изнасиловали летом в каменоломнях на горе в Катракио. Говорят, их было десять, парней из Коридаллоса с площади Мемоса. С тех пор мы ее больше не видели. Мать услала к каким-то родственникам на острова – вроде на Хиос, толковали, или на Самос. Никто точно не знает, они это держат в секрете. Красивой она была девушкой, Катерина, вся округа это говорила. Высокая, стройная, с белокурыми волосами и серыми глазами. Белая словно сливки, как говорится. Где бы ни шла, каждый разворачивался и смотрел ей вслед. Но с малолетства связалась с компаниями да ночными гулянками, а такие вещи ничем хорошим не заканчиваются. И ведь все говорили ее матери, смотри за девчонкой, присматривай за Катериной, да только что она может сделать, одна растит троих детей. И целыми днями по улицам, по домам ходит и продает пластиковые контейнеры и кастрюли, чтобы свести концы с концами. Младшая дочь Фомаи – другое дело. Красивая и она тоже, но пошла в отца. Дом, школа, школа, дом – все, как положено. И никаких вам компаний и кафе. Учится только на отлично, занимается иностранными языками, еще и на аккордеоне играет. Отец их блаженной памяти тоже был сам не свой до игры на аккордеоне, но ее успехам порадоваться не успел, – девочку даже не окрестили еще, когда он погиб в Пераме. Она его имя и получила: отец Фома, дочь – Фомаи. И по вечерам, когда мы слышим, как она играет на аккордеоне, вся округа его вспоминает. Убежденный коммунист, но тихий человек, – даже муравьишки последнего на этой земле не обидел.

В сентябре, после того как Катерину отослали из дома, Мао бросил школу и пошел на работу в бильярдную в Периволаки. Его мать приняла это в штыки, – и до сих пор так. Не по нутру ей было, что сын надевает фартук и разносит по магазинам подносы с кофе, сэндвичами и пивом. Скандалили они по этому поводу постоянно. То есть вдова кричит да убивается – а Мао даже и не слушает. И ничего в ответ. Жуткое дело. А затем выходит и сидит всю ночь на лестнице и курит и разговаривает с собаками и кошками. А мы, все соседи, смотрим на него и не знаем, что сказать.

Сильно изменился Мао с прошлого года. Не то, чтобы он прежде так уж близко с кем сходил, но теперь от него и вовсе слова не услышишь. А Михалис Панийиракис, у которого отец работал на кладбище и который понимает в таких вещах, утверждает, что в глазах Мао видишь взгляд смерти. Говорит, что Мао знает обидчиков своей сестры и копит деньги, чтобы купить ружье и разобраться с ними. Нашел каких-то маниатов, и те ему сказали, что за тысячу драхм, ну, вроде того, найдут ему хороший пистолет. Михалис рассказывает, что те из Коридаллоса послали Мао весточку, что, если он хоть чуть-чуть дернется, они как-нибудь ночью придут к нему в дом и отымеют и его мать, и его сестру. А самого Мао зажмут в углу и заставят на все это смотреть.

И потому не спит Мао по ночам. Несет стражу у дома на тот случай, если вдруг появятся эти из Коридаллоса.

¹⁰ Рассказ печатается в переводе А. Ковалевой.

Правда это или выдумки, но так уж говорит Михалис. Какие такие связи есть у Мао, никто наверняка не знает. Потому что Мао никому ничего не говорит. Только с кошками беседует.

И вся эта невеселая фабрика не день и не два продолжается. Собрал всех кошек и собак со всего района и кормит их, и гладит, и ведет с ними разговоры. По воскресеньям рассыпает на тротуаре крошки, чтобы налетали голуби и горлицы и воробьи. И есть у него кошка, что прихрамывает на одну лапку, так он зовет ее Августом. Это кошка, не кот, но так он ее называет. Август. Отличает ее от прочих и повесил на шею желтую ленточку с колокольчиком. И его мать смотрит на все на это и готова взорваться. И все твердят, что что-то должно произойти, потому что каждый день у нас шум и гам из-за стольких-то собак и кошек, но кто что может сказать Мао. Потому что он с детства был запертая комната, а сейчас смотрит на тебя, и кровь застывает в твоих жилах. На днях побрил голову, сам кожа да кости, да еще и смотрит на тебя черными глазами, в которых и тени улыбки не разглядеть, совсем стал похож на тех детей, что во время оккупации умирали от голода.

Уже и Мао никто не может назвать его в лицо.

Что подельываешь, Мао?

Твою маму от'ымаю.

* * *

По ночам Мао не спит. Полуночничает на лестнице у входа в дом, пьет и курит, и разговаривает с Августом. Однако есть немалое утешение в том, чтобы слышать в глухой ночи его голос и колокольчик кошки. Великое утешение. То и дело он встает и ходит туда-сюда – как часовой. До Икониу, а затем снова назад до Кастамонис и Дзавела. Туда-сюда, всю ночь, каждую ночь. По ночам в октябре, когда идет дождь, только и слышно, как дождевая вода сбегает по желобам и исчезает в водосточных решетках на дороге. Декабрьскими ночами, когда дуют ветра и воздух рокочет в электропроводах ДЕИ¹¹, а ветви шелковицы стучат в окно словно окоченевшие пальцы замерзших. В марте, когда ночи еще свежи, и ты высовываешь голову из окна и вдыхаешь аромат померанцевых деревьев и смотришь на звезды и на рассеянные по небу облака и думаешь, может ли что-нибудь случиться, – может ли что-нибудь случиться, чтобы этот мир со всеми его людьми не исчез. Мао там. Каждую ночь, всю ночь. Пока не рассветет. И никто не знает, где он – с такими ночами – берет силы ходить на работу. Но в нем – великое утешение. Утешение – знать, что там снаружи есть кто-то, кто бодрствует. И если ты откроешь глаза свои и слух свой, то увидишь и услышишь то, чему в желтом свете дня не придавал никакого значения. Как будто бы вместе с движением часов изменяются и сами вещи. Как будто бы у ночи есть какой-то таинственный план, волшебная сила, что способна превращать все вещи во что-то другое и делает их такими, что они кажутся менее дикими, менее жестокими – так, что хоть самую малость успокаивается испуганное сердце человека.словно бы бог не покинул со всей определенностью этот мир, но решил обитать в нем только по ночам. Если откроешь глаза свои и слух свой, то увидишь и услышишь. Резкий взмах рукой, щелчок, пламя спички, от которой прикуривают сигарету. Дым становится желтым в выдохе Мао и рассеивается как тяжелый вздох в темноте. Огонек на кончике сигареты вспыхивает и гаснет как умирающий светлячок. Кошка вытягивается на руках у Мао, когда он гладит ее, так, чтобы его пальцы прошли повсюду. Ты услышишь колокольчик, который позвякивает, и голос Мао, который мурлычет бог его знает что. Услышишь стук стакана, когда он ставит его на лестницу рядом с собой. Шорох его подошв, когда он ходит по дороге туда-обратно.

¹¹ Государственная энергетическая корпорация Греции.

Утешение. Великое в том утешение – знать, что кто-то рядом остается бодрствовать всю ночь. И, конечно же, все соседи печалятся о Мао, но, с другой стороны, мы говорим, что раз уж все пошло так, как оно пошло, хорошо, что есть кто-то, кто охраняет нас по ночам, – пусть даже и не такова его цель. Около ста семей здесь живет. И в последнее время дела здесь совсем плохи. Наркотики в школе. Карманники. Воры. Там внизу, у Айос Николаос, за одну неделю три дома обчистили. А кто-то вместе с женой пошел за детьми в школу – день-деньской стоял на дворе, а когда вернулись, обнаружили троих с ножами у себя в доме. Даже и пакистанцы страх потеряли. Пакистанцы! Те, что раньше глаз на тебя поднять не смели. Теперь и они по ночам рыщут бандами. В один из вечеров они стащили одного пацаненка с его велосипеда и увезли на стройплощадку возле церкви Святой Ксении и покуражились над ним. Совсем пацаненок, десять лет парнишке.

Очень плохи дела стали в последнее время.

Но мы в порядке.

Мы здесь куда спокойнее спим по ночам.

У нас есть Мао.

* * *

К вечеру небо темнеет и начинает идти дождь – беззвучно, заливая мир водой до самых костей. Мы только что увидели по телевизору, что произошло вчера вечером в Кондили. Ворвались двое уголовников в небольшую лавку и зарезали девушку на седьмом месяце беременности. В двух шагах отсюда Кондили, а мы узнаем новости по телевизору. И снова у нас все вверх дном пошло. Адмирал во всем винит полицию. Вайос Дзисимби, у которого брат в фараонах, все валит на политиков. Левые вроде как грызутся, чтобы распустить полицию, потому что ненавидят ее, а правые на все соглашаются, потому что боятся левых. А Михалис говорит, что если бы у нас осталась хоть капля достоинства – если бы мы были настоящими мужчинами, а не жалкими людишками, то сделали бы то, что делает Мао, вместо того чтобы сидеть и плакаться у экрана телевизора.

– Так поступают мужчины, – говорит Михалис. – Берут все в свои руки. Мы же – дерьмо собачье.

Он встает и выключает телевизор, зажигает свечи, приносит бутылку ципуро и сухой горох с изюмом. Мы сидим в темноте и смотрим в окно. Какими бы ни были страх и гнев, но невозможно не отдаться ненадолго прелести дождя. Слышишь кап-кап-кап, с которыми разбиваются капли об окно, и тебе кажется, что бьются они о твое сердце. И на какое-то краткое мгновение забываешь обо всем. Забываешь о том, что случилось в Кондили, и о том, что дождя не было с октября, да и кто знает, когда пойдет снова. Ты слушаешь дождь и забываешь. И когда приоткроешь чуть-чуть окно и высунешь голову наружу и сделаешь вдох поглубже, почувствуешь запах влажной земли и аромат померанцевого дерева, и воздух, у которого сегодня снова появился этот странный горьковатый привкус. И если посмотришь вверх, то увидишь дождь, льющийся золотистым потоком в свете уличного фонаря, и если поднимешь взгляд еще выше, то увидишь облака, окрасившиеся в темно-желтый, словно они проходят над тем местом, что охватил огонь и что сгорает дотла.

Когда часы отбивают одиннадцать, Мао выходит из дома и садится на лестнице и кладет рядом с собой сигареты и ставит бутылку. Это – цикудья, говорит Михалис, который не раз видел, как Мао выходит из магазина Критикоса в Цалдари. Затем Мао перекладывает на руки кошку, свисающую у него с плеча, и начинает ее гладить. И то поглядывает на дорогу, что блестит в разводах от дождя, то запрокидывает голову и всматривается вверх, в дождь, льющий с неба желтоватым потоком, в дождь, капли которого похожи на волосы из бороды старика, обильно сдобренной никотином. И Вайос, один из самых старых среди наших жителей, снова

вспоминает сегодня деда Мао, кэптина Ставроса, тот тоже был сам не свой до кошек. Как-то ему принесли кошку, белую и пушистую, звали ее Набила, но этот старик, ему уже лет восемьдесят тогда было, того не понимал и звал ее Мандилья. Он по ней с ума сходил совершенно, даже и на секунду не позволял отойти. Незадолго до того, как он умер, кошка исчезла. И он выскочил на улицу в пижаме и с палкой и давай кричать «Мандилья, Мандилья!». Его слышит соседка и говорит, видно, старик совсем с ума сошел или с ним insult случился, хватает, не знаю там, полотенце и бросилась на улицу и говорит ему, смотри, барба-Ставро, я принесла тебе мантилью. А теперь давай пойдем домой, а то, не ровен час, появится машина и собьёт тебя. Старик взорвался, решил, что она над ним издевается, заносит свою палку и чуть было не прикончил бедную женщину прямо там: надо было видеть, как он ее избил. Насилу его успокоили, хоть он и одной ногой уже в могиле был, а кровь горячая. Чертов старик. Свирепым был до последних своих минут. Старики говорили, что он немало людей на тот свет отправил во время гражданской войны.

– Парнишка кончит точь-в-точь как его дед, – цедит Вайос. – Вот попомните мои слова. Вайос зря слов на ветер не бросает. Все эти коммуняки такие. Ублюдки.

– Коммунист не коммунист, а он лучше нас, – заметил Михалис. – Вы знаете, что есть те, кто теперь спать лечь не может, если Мао не вышел на лестницу? Есть те, кто каждую ночь сидит, не смыкая глаз, и ждет, глядя в окно, пока Мао выйдет из дома. Я собственными ушами слышал, как люди говорят, что они стали спокойнее спать по ночам с тех пор, как Мао начал полуночничать. Не один и не два человека такое говорили. Многие.

Адмирал встает и идет к окну. Он – отставной моряк, поэтому мы его зовем адмиралом. И жена его также зовет. Иногда, когда собираемся у Сатанаса, она звонит и не Димитриса или даже Павлакосу просит позвать. Адмирала. «Адмирал там?» – спрашивает.

Он протирает стекло рукой и смотрит на улицу. Сильно похудел в последнее время, одежда так и сваливается. И сейчас в полутьме лицо его кажется пожелтевшим, как листья шелковицы зимой. На днях он сказал Вайосу, что с тех пор, как вышел на пенсию, стал другим человеком. Заках. Это неправильно, что мужчин так рано снимают с вооружения, проговорил он. А Вайос на него набросился. «Ах ты, снаряд недоделанный, мы тут чахнем от этой чертовой работы, а ты от безделья страдаешь, э? Да пропади ты пропадом, пустобрех! Неблагодарный». Они тогда страшно поругались.

– Да подумайте немного, – заметил Михалис. – Нас тут семей сто на всю округу примерно, так? Одни друг с другом не разговаривают, а другие и в лицо соседней не знают. Даже здесь в этом многоквартирном доме есть люди, которых я вижу только на Рождество и Пасху, как говорится. И, однако же, каждый по вечерам охвачен одним и тем же страстным желанием – увидеть, как Мао выходит на лестницу. Да что далеко ходить. Позавчера днем мать моя запалила ладан в кадилнице, и вдруг, вижу, выходит она на балкон и кадит улицу. Я ей, ты там чему ладан воскуряешь, дорогая мама. Кошкам? Нет, отвечает, это для Мао. Чтобы господь сберег молодца, который нас по ночам охраняет. Слыхал такое? И подумать только, что с матерью Мао она уже много лет как порвала всякие отношения. Есть какое-то утешение в том, чтобы знать, что кто-то бодрствует, пока ты спишь. Великое утешение. Великое дело – спать спокойно по ночам. И сказать вам и еще кое-что? Если бы такой Мао был в каждом районе в этом городе и вообще повсюду, этот мир был бы куда лучшим местом. Нечего надо мной смеяться. Если бы в каждом районе нашлся такой Мао, что стоял бы по ночам в дозоре, мир стал бы куда как лучше. Пospорим? Нет здесь ничего смешного. Это и называется демократия. Не ждать бедным, когда придут богатые и помогут им, но брать дело в свои руки. Потому что отсюда-то все беды и начинаются. Что мы сидим и думаем, что это вообще возможно, что богатые помогут бедным. Да не будет такого. Мы и они – две разных вселенных. Одно дело – они, другое – мы. Мы должны взять все в свои руки. Это и делает Мао. Потому что, кто, вы думаете, главный враг человека? Смерть? Деньги? Нет, конечно. Страх. Он – самый злейший враг. Страх. Страх.

– Что-то происходит, говорит адмирал. – Снова этот «Мирафиори». Что-то происходит. Мы прилипли к окну и смотрим. Желтый «Мирафиори» с выключенными фарами и ревущей выхлопной трубой движется по улице. Кошка, развалившаяся на руках у Мао, поднимает голову. Едва доехав до Мао, автомобиль сбрасывает скорость. Мао встает, и водитель дает по газам и уносится прочь. Мао выходит на середину улицы и смотрит вслед автомобилю, которая доезжает до улицы Кипра и поворачивает налево. Он снова садится. Ждет. Смотрит вправо, смотрит влево. Наклоняется вперед и, кажется, что-то шепчет кошке на ухо, а та слушает, изогнув хвост как вопросительный знак. Затем Мао отпивает из бутылки и прикуривает сигарету, и, когда выдыхает, дым выходит желтый и плотный, словно бы он вдохнул всю сигарету за одну затяжку.

– Второй раз за сегодня, – произносит Михалис. – Они и днем проезжали.

– Сколько их было в машине? Я заметил двоих.

– Трое. Еще один сзади сидел.

– Мы еще наплачемся здесь из-за него, – Вайос отходит от окна. – Вы уж мне поверьте.

Вайос зря не скажет.

* * *

Дождь прекратился, но капли еще стекают по стеклу, а из приоткрытого окна доносится шум воды, несущейся по тротуару как маленькая речка. Адмирал в поисках песен переключает радиостанции и находит какую-то старую рембетику, однако вскоре раздается джингл радиостанции 902, и Вайос, шипя что-то про пидарасов, встает и переключает на другую радиостанцию.

– Что происходит?

– Ничего.

– Что он делает?

– Ничего. Играет с кошкой.

– Как он ее называет, мы вроде обсуждали? Июль?

– Август.

– А, точно. Истинно сказал вам Вайос, а вы не послушали. Как его долбанутый дед, так и он добром не кончит. Если, конечно, доживет до его лет. В чем я лично сомневаюсь. Как по мне, так он явно с какой-то наркотой связался. И всю эту историю с его сестрой и этими из Коридаллоса я бы не стал принимать всерьез. И пусть Михалакис говорит, что хочет. Ты хоть раз встречал коммуниста, которого можно было бы хоть как-то понять?

– Я помню семьдесят восьмой, – отозвался Михалис. – Тогда, когда в первый раз выбрали мэром Логофета. Помните, что произошло тем вечером? Все эти кукуэды¹² собрались позади церкви святой Ксении и галдели так, что можно было подумать, война началась. Я тогда в школу ходил, но помню, как сейчас. Помню, матери высказывали на улицу, хватили нас и запирались по домам вместе с соседями, дрожа от страха. Конечно, теперь нас коммунисты точно со свету сживут, говорили все. Ворвутся и перережут нас. Какие слезы лились в тот вечер, словами не передать. Уж мы увидели тогда небо с овчинку. Плакали женщины, плакали дети, а старухи упали на колени и принялись молиться. Полная паника наступила, приятель. Помню, как отец мой, упокой господи его душу, и еще двое-трое других мужчин вооружились кухонными ножами и всю ночь стояли на страже у двери. Паника. И мы говорим о семьдесят восьмом, так? Не о пятидесятых и не о шестидесятых. В семьдесят восьмом все это было.

– Так и есть, – бросает Вайос. – Красные совсем распустились тогда. Думали, что устроят нам тут еще один Сталинград в Коккинье. А теперь эта чума – в парламенте, и мы им еще и

¹² Кукуэды – члены Коммунистической партии Греции (от ККЕ – Коммунистическая партия Греции).

зарплату платим, мало нам всего остального. Чтоб им провалиться. Да имел я эту вашу демократию, поганые клоуны. Меня уже тошнит от этих пидоров. От одного их вида наизнанку выворачивает. Особенно от тех, что продались и пошли в систему. Тех, кто носит галстуки и ездит на шикарных авто, а по вечерам сидит перед телевизором – в одной руке пульт, в другой – член, – и мечтает о революциях. Вот от таких двустволок меня корежит. Левые, говорят тебе, понял? Да у них только одно левое и есть. Их шары – по одному на каждого. Пидарасы.

Адмирал потянулся, взял бутылку и наполнил стаканы. Руки у него дрожат. Он выпивает, наполняет, снова выпивает.

– Это – ерунда, – с трудом выдавливает он. – В семьдесят первом в связи с политической ситуацией нас послали в Норфолк в Америку забрать «Навкратусу-II». Зверь, а не корабль, самый большой во флоте. Целый город. Мы пробыли там месяца два, но было там непросто. Каждый раз, когда мы выходили в увольнительную, начинался бардак. Ну, и доставалось же нам от черных, до сих пор это помню. Они швыряли в нас мусор, с верхних этажей многоэтажек. Тогда все бесновались из-за войны во Вьетнаме, понял, и они смотрели на нас в форме и впадали в бешенство. Словно это мы были виноваты в том зверстве, которое там творилось. А мы, бедолаги, знать не знали даже и то, где этот Вьетнам на карте находится. Помню, как-то вечером наткнулись мы в баре на морского пехотинца, американца, который вернулся оттуда, и руки у него были забинтованы. Мы разговорились, и он рассказал, что однажды его рота попала в засаду, и все за исключением него и еще одного-двух солдат были убиты. И с тех пор у него нервы не в порядке, и он постоянно грызет ногти – до мяса. От страха, понимаешь. Поэтому ему и наложили бинты.

А он, ребята, был здоровенным парнем, под два метра. Я до сих пор его помню. Мы его угощали пивом и виски, и под конец он не давал нам уйти. Умолял спрятать на корабле, чтобы он мог уплыть с нами в Грецию. Вот вам крест. Два метра роста мужик и ведет себя как дите малое. До сих пор его помню. В конце-то концов. Вот истории. Но я с малых лет сходил с ума по Америке. Постоянно твердил, что найду способ уехать туда и остаться навсегда. А мой покойный отец, который немало поездил по свету, говорил, что Америка не для таких людей, как мы. В Европе, повторял он, бедность считается несчастьем. В Америке бедность – это позор. Ты сможешь быть и бедным, и опозоренным? Так что сиди на своих яйцах смиренно и нечего тут воздушные замки строить.

Вайос смотрит на Михалиса, потом – на адмирала.

– Парни, это вы вот о чем сейчас, – спрашивает. – Как это мы от kota барба-Ставроса перенесли во Вьетнам? Что-то я вообще ничего не понял.

– Я к этому и подхожу, – ответил адмирал. – Теперь, когда прошло столько лет, и я думаю обо всем этом, то могу сказать только одно, что за хрень мне продавал покойник, мир праху его. Можно подумать, что, оставаясь здесь, я чего-то добился. Что, я здесь не беден и не опозорен? Тридцать пять лет службы, и чего я добился? Вчетвером живем в дыре в 60 квадратов. Я два года метался от одного депутата к другому, чтобы найти работу младшему, а теперь его, как он говорит, хотят уволить. Он себе хребет надорвал, таская на себе запчасти за восемьсот евро в месяц, а теперь его хотят вышвырнуть, потому что госпожа Тойота плохо себя чувствует. Вместо пятисот миллионов, ну, не знаю, сколько там они заработали в этом году, всего лишь четыреста девяносто. Большой убыток, понимаешь? А мне, значит, давай опять бегай и умоляй каждого мерзавца. Помните, я вам говорил, что работу в запчастях ему нашел этот Панайотакос. Мы были вместе во флоте, он служил помощником капитана на «Пантере». Дай ему корабль, он его на скалы бросит, бесполезный дурак, а теперь стал членом парламента. В конце-то концов. Когда тот нашел младшему работу, я зашел к нему в офис, возле Муниципального театра он сидел, поблагодарить. Так вот он в тот день так облился одеколоном, что, когда мы пожали друг другу руки, на моих запахах остался. Э, парни, вы не поверите! Прошло столько лет с тех пор, а однако же бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще чую этот

запах у себя на руке. Вот вам крест. Понюхаю иногда руку, и мне тошнота к горлу подкатывает. Словно бы от самой моей души несет чем-то ужасным. Вот опять. Я опять чувствую этот запах.

Он подносит руку к носу, вдыхает и затем протягивает Михалису.

– Видишь, дружище. Видишь, как пахнет. Как это, черт его побери, может происходить, ты мне не скажешь?

– Перестань, – взорвался Вайос. – Хватит уже, адмирал, что ты плачешься. Одеколон и прочая хрень. Сколько ты получил выходного пособия, уходя в отставку? А пенсию какую получаешь? Окажи нам любезность уж. Все болтают, болтаешь и ты, болтаешь, выйдя на пенсию в пятьдесят, сидишь тут и почесываешь свои шары, а тебе и за это платят. Давай уже, смени тему, иначе мы опять сцепимся. Михалаки, мы эту бутылку уже до дыр распили. Принесешь другую или мне встать и уйти?

Михалис приносит ципуро, разливает по стаканам и снова садится. Вайос наклоняется, прикуривает сигарету от свечи и выдыхает дым в сторону. Снимает целлофановую упаковку с сигаретной пачки, сминает и бросает в пепельницу, поглядывая искоса на Павлакосу, – тот сидит, повернувшись в другую сторону, и смотрит в окно.

– Кстати, о деньгах, – говорит Михалис. – В прошлом году, когда умер мой отец, пришел сюда вечером Ираклис. Ираклис, который здесь на углу живет. Лакис.

– Это ты о бородатом? У которого еще киоск на рынке?

– О нем. Он пришел поздно, после того как вы уже ушли. Приходит с огромной бутылкой виски, и мы садимся в спальне, потому что здесь были женщины, причитавшие вместе с моей матерью. Навалились на выпивку, и в какой-то момент этот тип в слезы и давай мне о моем отце рассказывать: да какой он человек хороший был, да как он его любил, да как он словно брата потерял и тому подобное. И бросается рыдать, мне в объятия кидаться, а я и не знаю, что с ним делать. В какой-то момент поворачивается и спрашивает, во сколько станут похороны. Во столько, отвечаю. И тогда его как понесет, смотри, дорогой Михалис, поскольку я твоего отца держал, скажем так, за брата, и знаю, что вы сейчас в стесненных обстоятельствах, то хочу сам оплатить похороны. Я тебе дам деньги. Чтобы у нас на душе полегче стало, как говорится. Я тебе дам деньги. Вижу, что парень пьян в дым, по щекам у него ручьем бегут слезы, взываю к нему, да ты что, Лаки, что это такое. То есть, конечно, я тебе очень благодарен, но так не делается. Ты заплатишь за похороны моего отца? Не пойдет. Короче говоря, тип уперся и ни в какую не сдается. И я думаю про себя, этот пидор точно меня разыгрывает, я же знаю, что он сучий еврейский потрох, жадный такой, что дальше ехать некуда. Так вот, пацаны, он встает и выходит, подожди-ка, я скоро, и через десять минут возвращается, достает из кармана и протягивает мне конверт, битком набитый сотенными. Он просто распух от сотенных, вот что я вам скажу. И зовет мою мать и давай ей втирать, так, мол, и так, и она, бедняжка, как начнет в помутнении рассудка кричать да плакать, а потом на колени падает и руки ему целует. Да, представляете, руки ему целовала. Потому что мы бегали искали деньги и брали в долг уже и у кузенов, и дядьев. В общем, чтоб вам тут долго все это не расписывать, пошел я на следующее утро к этому мерзавцу Киосеоглу и спускаю там деньги на гроб, цветы и все остальное. А в двенадцать, ну, или около того, мне звонит Ираклис и начинает плести бог его знает что. Дружище, говорит, у меня дела плохо пошли, а деньги, они госпожи моей были и лежали у нее для оплаты каких-то векселей да за школу детям и прочую чушь. И снова в слезы да все прощения просит и просит у меня. А я похолодел и так и замер с трубкой в руке. У меня ноги подкосились.

– И что ты сделал, – спрашивает адмирал. – Как поступил? Отдал ему деньги?

– Конечно, отдал. А что мне было делать. Помчался по родственникам – и к тем, и к другим, собрал и отдал. И подумать только, этот хрен облезлый, сам за ними не пришел. Дочку свою прислал. Трус.

– Да ты смеешься! – говорит Вайос. – Что это за страсть такая? И почему ты столько времени нам об этом ни слова?

– А что тут скажешь? Как будто, это изменит что-то. Сейчас, когда к слову пришлось, рассказал. И матери потом, спустя какое-то время, правду сказал. А в день похорон она подходит ко мне, бедняжка, и спрашивает, где Ираклис и почему Ираклис не пришел и тысячу добрых слов про него напела, про подонка. Такого со мной еще не бывало. Когда он втиснул мне этот конверт, богом клянусь, у меня словно гора с плеч свалилась. Несмотря на все горе, я сказал, ладно, пидор, и нас хоть раз господь пожалел. А потом такой срам. Такой срам. Чтоб я за час до похорон бегал и выпрашивал по пятьсот евро у одного, да по пятьсот у другого. Мне было так стыдно, что головы не поднять. Хоть бы земля разверзлась и поглотила меня. Сколько бы мне ни осталось еще, этого не забыть. Боже, какой срам. Однако же берегись, за все в этой жизни воздается. Знаете, что случилось с его сыном?

– С чьим? – удивился Вайос.

– Как это с чьим? Да ты пьян уже, что ли, в стельку? Мы разве не об Ираклисе говорим столько времени? Так вы не знаете, что случилось с его сыном? Они отправили его на Родос, прекрасный студент и все такое, да только вернулся он законченным нариком. На днях, говорят, у него случился приступ, схватил мать за горло да чуть было и не задушил с концами. И теперь они заперли его в какой-то клинике под Булой в Глифаде и целое состояние за него платят. Вот так вот, приятель. За все тебе воздается. За все. С самого дня похорон в глубине души я молился, чтобы что-нибудь произошло. Чтобы этот мерзавец заплатил за то, что он со мной сделал. И когда узнал о том, что случилось с его сыном, то сначала просто возликовал. Однако вот что странно. Какой силой обладает ненависть. Иной раз мне кажется, что ненависть словно воздух, которым дышим все мы, живущие здесь, в городах. Постепенно, неспешно она убивает тебя, но без нее нет жизни.

Михалис снимает свои очки, смотрит на них в свете свечи и снова надевает. Адмирал скорчился в кресле, склонив голову, и смотрит на свои ботинки. Вайос встает и идет к окну. Наклоняется и смотрит наружу. Стекло запотеваает от его дыхания.

– Я же вас часто вижу вместе, – наконец произносит он. – Разве вы не сидели вчера у Сатанаса?

– Знаю, – отзывается Михалис. – Все его гонят взащей, и он часто приходит ко мне. За жалостью. Пьяный с утра до ночи. Что такое, адмирал? Что ты кривишься? Я, что, тебя обидел?

Адмирал прикуривает сигарету и выдыхает дым прямо на пламя свечи, огонек начинает дрожать, но затем снова успокаивается.

– Нет, Михалис. Я не обиделся. О другом думаю. Мы говорим и говорим, и чем больше говорим, тем яснее я понимаю, что то, что нас объединяет, есть то, чего мы боимся и что ненавидим. Как мы до этого дошли? Откуда взялось столько страха и столько ненависти, скажи мне? И чем дальше, тем хуже все становится. Бывают дни, когда я вижу всякое, и мне хочется убить кого-нибудь. Вот вам крест. Я всякого повидал на флоте за столько-то лет, но никогда на меня такое не накатывало. Никогда. Но теперь я больше не могу. Я задыхаюсь, так говорится? Задыхаюсь.

Михалис смотрит на Вайоса, который все еще стоит у окна, и Вайос ему мрачно подмигивает, прижимает палец к губам, а затем крутит у виска. Отходит от окна и садится напротив адмирала, наполняя стаканы. Выпивает, затем наклоняется вперед и прикуривает сигарету от свечи.

– Дурное предзнаменование, – адмирал поднимает на него взгляд.

Вайос застывает, склонившись над свечой, и смотрит на него, не выпуская сигарету из зубов. В полутьме его лицо окутывает странная грозная тень.

– Плохая примета – прикуривать от свечи. На флоте мы говорили, что, если прикуриваешь сигарету от свечи, значит, где-то умрет моряк.

– Тебе-то что до этого, – мягко произносит Михалис. – Ты теперь сухопутный.

Адмирал поднимает голову и смотрит на нас как человек, только что вышедший из комы и пытающийся разобраться, что это за люди, что собрались вокруг него. Глаза его мутны, как запотевшие стекла.

Затем наклоняется и дует на свечку. Пламя съезживается и уже готово погаснуть, но затем снова разгорается.

* * *

В один из субботних вечеров в прошлом месяце Мао вышел на лестницу позже обычного. Дождь лил целый день, и когда наступила ночь, все окутал туман, стоило только чуть присмотреться и можно было различить пар, поднимающийся от мокрого асфальта как дыхание в морозном воздухе, – словно бы там было что-то живое, какое-то странное существо, что дышало тысячью глоток в темноте. Выйдя, он позвал кошку – «Кис-кис!» – и та выпрыгнула из-за коробок, сваленных у лавки Йотаса, и побежала, прихрамывая, к нему. Мао разорвал картонную коробку, бросил ее на лестницу и сел, поставив рядом бутылку и пачку сигарет, а затем схватил за шкурку кошку, которая, задрвав хвост, терлась об его ноги, посадил ее к себе на колени и начал ее гладить и разговаривать с ней. И так той ночью тихо было все кругом, что казалось, только прислушайся и услышишь капли, что все еще падали с ветвей шелковицы, журчание воды, бегущей по тротуару под домом, услышишь звон колокольчика на ленточке у кошки и услышишь, как Мао говорит о том, чего ты никак не ожидал услышать от такого человека как Мао. Его речи были исполнены горечи, его речи были полны ностальгии. Юный мальчик – о чем он успел начать тосковать? И голос его был столь нежен и столь спокоен, спокойнее, чем сама эта ночь, это был шепот, больше похожий на журчание воды, бегущей по тротуару под домом. И, если закрыть глаза, можно было ощутить, как странное спокойствие овладевает тобой, так, что журчание воды сливалось с голосом Мао. Вот почему все говорят, что великое есть в том утешение – услышать человеческий голос в ночи. Великое утешение – если кто-то бодрствует в ночи из-за страха – знать, что кто-то делает что-то, чтобы изгнать страх.

Только Михалис увидел то, что случилось той ночью.

Он сидел у себя в гостиной и смотрел документальный фильм о том, как именно придет конец этому миру, но в какое-то мгновение был настолько напуган увиденным, что выключил телевизор, настроил радио и налил себе виски. Его мать сидела у себя в спальне вместе с подругами и смотрела по телевизору концерт. Они привыкли собираться дома у Михалиса, потому что все эти женщины были вдовами и боялись оставаться одни по вечерам. Михалис постоянно ругается со своей матерью и говорит, что она превратила дом во вдовый пароход, но она и слушать ничего не хочет. Опустошив бутылку, он пошел к ней и разбудил трех старух, уснувших перед включенным телевизором. Отвел их по домам, затем вернулся, укрыл мать одеялом, снова отправился в гостиную, открыл новую бутылку, разделся и закурил сигарету, а потом сел, как и каждый вечер, у окна и стал наблюдать за Мао, который сидел на ступеньках, курил, пил и разговаривал со своей кошкой.

Ему нравилось сидеть по ночам в темноте и смотреть на Мао. Много раз он хотел взять бутылку виски, спуститься вниз, сесть рядом с ним на ступеньках, обнять его, погладить его бритую голову и сказать, чтобы он поговорил с ним, а не с кошкой. Много ночей он собирался это сделать. И его вовсе не волновало, что останется без сна и отправится на работу измученным, лишенным сна и страдающим от похмелья. Но он знает, что Мао не любит компании. А если его к тому же увидит хоть один из соседей, пойдут пересуды. Лучше пусть у тебя вырвут глаз, чем доброе имя отымут, – правильно? Правильно.

Было уже больше трех, когда появилась «Мирафиори». Она появилась, нарушив правила, с улицы Кипра, проехала с выключенными фарами и остановилась прямо напротив дома Мао.

Михалис увидел, как загорелись тормозные огни, и желтый дым, вырывающийся из выхлопной трубы. И огромного желтого скорпиона, нарисованного на заднем стекле. Он встал и открыл окно. Подождал. Почувствовав пронизывающую до костей сырость, решил было накинуть рубашку – но не успел. Мао резко встал, и кошка выскользнула из его рук с пронзительным мяуканьем, а затем Мао с силой бросился к двери водителя. Взвизгнув шинами по мокрому асфальту, «Мирафиори» умчалась. Мао побежал за ней. У дома глухонемого он остановился и вытянул руку, и вслед за этим раздался выстрел – сухой и глухой, как будто треснула ветка. С громким звоном посыпались стекла. «Мирафиори» задом въехала на Кастамонис и исчезла. Михалис голым свесился из окна. Хотел сказать что-нибудь, крикнуть, но голос замерз у него в горле. Он увидел Мао – тот стоял посреди улицы, рука вытянута вперед, ноги расставлены и чуть согнуты как у ковбоя. Михалис был уверен, вот-вот окна начнут загораться, двери – открываться, а люди – выбегать из домов, но ничего не происходило. Мао пошел на угол. Посмотрел на улицу – вверх, вниз. Взглянул на небо, растаявшее в тумане. Затем пошел назад, медленно, глядя вперед, и его ботинки тяжело вдавливали каждый шаг в асфальт. Высокий и такой худой – словно бесплотная тень.

Дойдя до лестницы, отпил из бутылки и прикурил сигарету. Кошка смотрела на него с шелковицы, куда забралась тем временем. Он позвал ее, но та не стала спускаться. В доме загорелся свет. Мао бросил сигарету и побежал.

Михалис, по-прежнему голый, еще больше высунулся из окна и увидел, как Мао исчезает в дальнем конце улицы. Тьма сгустилась вокруг него, словно огромная тень, что наконец отыскала свое тело.

Правда или нет, кто знает, но так рассказал Михалис.

* * *

На следующий день мы собрались в доме глухонемого. Человек десять, может, даже больше. Глухонемой был в ярости. Пуля вдребезги разбила заднее стекло в его автомобиле. Жестикуюлируя, он проклинал и Мао, и мать Мао, и свою злосчастную судьбу, потому что он всегда парковал свою машину прямо перед домом, а вчера кто-то посторонний занял его место и пришлось оставить ее на углу. Он потрясал кулаками, глаза только что из орбит не вылезали, а вены на шее вздувались так, что казалось, вот-вот лопнут. Один поносил соседей за то, что никто не вызвал полицию, другой заметил, что никто не понял, что треск на самом деле был выстрелом, – слыханное ли это дело, чтобы посреди улицы начали стрелять, – и тогда первый заорал, что если бы он был здесь вчера вечером – а он уезжал на свадьбу – то схватил бы ублюдка за горло и засунул бы ему этот пистолет в жопу. Тут же поднялся чудовищный гвалт, потому что даже и самые спокойные были раздражены из-за глухонемого, который все убивался и мычал «ммммм» да «ннннн», так что на него рявкнули, чтобы он заткнулся, сел в угол и дал нам подумать, что делать дальше, но из-за этого глухонемой разозлился еще больше, побагровел и схватил телефонную книгу «Золотые страницы» и начал колотить ею об стол. Все были охвачены яростью и страхом. И одни хотели пойти в участок, другие поносили мать Мао, которая шаталась по улицам, что твоя поповская собака, и превратила свой дом в бордель. И один сказал, что женщины – это наказание мира нашего, потому что с тех пор, как они начали заниматься чем угодно, кроме того единственного, что должны, – то есть рожать детей и воспитывать их, они погубили самих себя, и детей, и мужей, и весь этот мир. И все твердили, что нужно же что-то делать, потому что слыханное ли это дело, чтобы по улицам шатался этот сучий потрох, наркоман с пистолетом в кармане, и если мы все оставим, как есть, то, верное дело, завтра-послезавтра он выйдет на улицу и убьет первого же, кто ему повстречается. И Ираклис, бородатый, тот, что держит прилавок на рынке, спросил, кто пойдет с ним в дом Мао и поможет ему разделать того под орех, но кто-то сказал, что Мао исчез еще вчера

вечером. Все были охвачены яростью и страхом. И тут в дело вступил Михалис и сказал, что не нужно переходить границы и что как-нибудь все уладится. Сказал, что Мао – страж нашей округи, и что очень многие чувствуют себя в безопасности, зная, что кто-то бодрствует всю ночь и заботится о соседях. И давайте не будем забывать, сказал он, какие страдания претерпел Мао из-за того, что случилось с его сестрой. И не будем забывать и о том, что эта шантрапа из Коридаллоса пообещала Мао, что они еще вернутся как-нибудь вечером и сделают то же самое с его матерью и младшей сестрой.

– Да ты в себе, Михалаки, – подскочил Вайос. – Значит, из-за того, что они от'ымели его сестру, теперь он должен от'иметь нас? Отвали, сделай милость, приятель, раз уж ты решил принять его сторону.

– Да уж, – встрял Ираклис. – Как мы вообще можем это знать наверняка? Откуда нам знать, как оно все было? А я вам говорю, что этот паршивец связался с наркотиками, потому на него и охотятся. Ясно как день. И эта маленькая шлюха тоже во что-то впуталась, за то ее и вышвырнули из дома. И их мать тоже пусть безгрешную из себя не строит, все она знает и покрывает. А теперь ты мне несешь околесицу про хранителя, защищающего округу. Свои яйца он охраняет. Ты нам еще героя из наркомана сделаешь.

Слово за слово, но все согласились, чтобы Михалис и Ираклис сходили к матери Мао поговорить и посмотреть, как оно, к дьяволу, все пойдет. Согласились даже и те, что поначалу собирались пойти в участок, кто-то напомнил, что если мы вмешаем сюда полицию, то по нашу душу придут и Мао, и эти из Коридаллоса, и дело добром не кончится, – это вам не шуточки, а стремные дела. Куда как лучше, чтобы мы сами с этим разобрались, безо всяких там фараонов и протоколов.

Так и вышло. Но мать Мао сказала, что понятия не имеет, где тот сейчас. Сказала, что с ума сходит, потому что боится, как бы он не наделал глупостей с оружием в руках. Сказала, что не знает, что это за оружие такое и где Мао его взял. Ничего она не знала.

– Остальные хотят пойти в полицию, – отозвался на это Михалис. – Едва-едва их от того отговорили.

– Да знаю я, – ответила та. – Пусть идут. И я вместе с ними. Не знаю, что еще можно сделать.

Потом она рассказала, что разговаривала с начальником Мао в «Лидо», и тот пообещал, что постарается его найти. Сказал ждать до полудня. Не бойся, сказал. Положись на меня. Я-то уж знаю, как его выкурить.

– Хорошо, – кивнул Ираклис, услышав это. – Но есть еще и проблема глухонемого. Ты знаешь, что твой добрый молодец разбил стекла в его машине? С этим что будем делать? Кто заплатит за ущерб?

Мать Мао взглянула на них, упала на стул и разрыдалась. Ее тело била дрожь, дыхание пресекалось. Младшая дочь Фомаи подошла и обняла ее, напрасно пытаясь осушить ее слезы рукавом своей пижамы. Наконец мать Мао поднялась и, открыв шкаф, вытащила оттуда полтинник.

– Эт'еще что? – спросил Ираклис. – Пятьдесят евро. И что мы на них сделаем, госпожа? На пятьдесят евро даже очиститель для стекла не купить, не то, что само стекло.

– У меня больше нет, – проговорила она. – Я постараюсь найти еще на неделе. Это у меня есть сейчас. Больше нет ничего.

– Так, ладно, – вмешался Михалис.

– А вот и не ладно, – прервал его Ираклис. – Пятьюдесятью евро они отделаются? Да он вчера чуть весь народ не положил. Не пойдет.

– У меня больше нет, – повторила женщина. – Возьмите их и оставьте меня в покое наедине с моим несчастьем. Где мой сын? Мой Мао. Почему вы не идете его искать? Что вы с ним сделали? Где мой Мао?

Девочка, которая все это время стояла молча, не произнося ни слова, пошла в комнаты и принесла аккордеон.

– Возьмите, – протянула она его Михалису. – Он немецкий. Стоит больше тысячи евро. Возьмите и оставьте нас в покое.

Мать посмотрела на девочку и затем на мужчин. Казалось, она никак не может понять, что происходит. Только качала головой – вверх, вниз, как сломанная кукла. Блузка сползла с ее плеча, так что стала видна бретелька лифчика. Розовая.

– Пошли отсюда, – процедил Михалис и схватил другого за локоть. – Пошли, тебе говорю. Отцепись уже от них.

Ираклис высвободил руку и нажал на черную кнопку на аккордеоне. Ни звука. Девочка сжежилась и подалась назад. Плечи ее дрожали, а щеки стали пунцовыми.

– Мы не закончили, – бросил Ираклис. – Даже не думайте, что так легко отделаетесь. И скажи своему молодчику, что я его жду. Так сказал Ираклис, скажи ему. Я жду его. Так просто вам это с рук не сойдет, слышите? Я вам такое зейбекико тут натанцюю, небо с овчинку покажется.

Выйдя на улицу, они остановились и закурили. Дул ветер, и им пришлось сильно затянуться несколько раз, прежде чем они хорошенько раскурили свои сигареты.

– Ты заметил? – спросил Ираклис.

– Что еще?

– Да ее рот. От него несло за тысячу шагов. Минетчица. Напоминает мне одну потаскушку, которую я держал когда-то в Кератцини. Невероятная шлюха. Ни одному члену не давала опасть. Точно, как эта.

Он повернулся и посмотрел на дом.

– Младшая, однако, очень недурна. Свеженькая штучка. Так бы ее косточки и обсосал.

– С глухонемым что будем делать? – спросил Михалис.

– Да на хрен его, нытик. А с девчонкой посмотрим, что да как. Я бы с удовольствием поимел такую. В конце-то концов. Посмотрим. Пойдем пропустим по стаканчику у Сатанаса? Я угощаю.

* * *

Так, с того субботнего вечера, Мао и исчез. Никто не знает, что с ним случилось. Да и мать его и сестру тоже уже давно никто не видел в округе. Михалис раз-другой заходил к ним, но там никого не было. Говорит, может, уехали на тот остров, куда отправили Катерину. А, может, еще куда подались на время, пока забудется вся история. Кто знает.

Тем временем у нас ничего не закончилось. На прошлой неделе из муниципалитета привезли эти большие голубые контейнеры для раздельного сбора мусора и поставили по одному на каждом углу, а нам раздали листовки и какие-то особенные мешки, чтобы мы собирали, как говорят, бумагу и жестянки. Прогресс. И в четверг вечером, когда мы сидели у Сатанаса, пришел адмирал и спросил, знаем ли мы, что случилось с Софронисом, который живет рядом со школой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.